

Весь Шатобриан

Ренэ

Приехав к натчессам, Ренэ был вынужден взять себе жену, в соответствии с нравами индейцев; но он совершенно не жил с ней. Склонность к меланхолии увлекала его в глубь лесов; он проводил там целые дни в полном одиночестве и казался диким между дикими. Он отказывался от каждого сношения с людьми, за исключением Шактаса¹, приемного отца, и отца Суэля, миссионера в форте Розалия². Эти два старца взяли большую власть над ним: первый своей мягкой уступчивостью, второй, наоборот, — крайней строгостью. После охоты на бобров, когда слепой сашем³ рассказал Ренэ свои приключения, Ренэ никогда не желал говорить о своих. Между тем Шактасу и миссионеру очень хотелось узнать, какое горе привело знатного европейца к странному решению укрыться в пустыне Луизианы. Ренэ всегда объяснял свой отказ тем, что его история

¹ Гармонический голос.

² Французская колония в Натчесе.

³ Старик или советник.

мало интересна и ограничивается, говорил он, историей его мыслей и чувств.

— Что касается события, заставившего меня поехать в Америку, прибавлял он, — то я должен хранить его в вечном забвении.

Несколько лет прошло таким образом, и старцам не удалось выведать у Ренэ его тайну. Письмо, полученное им из Европы через бюро иностранных миссий, до такой степени увеличило его грусть, что он стал избегать даже старых друзей. И они еще с большей настойчивостью стали просить его открыть им свое сердце; в эти просьбы они вложили столько вдумчивости, кротости и влияния, что он принужден был наконец уступить им. Итак, он условился с ними о дне, когда расскажет им не о приключениях своей жизни, так как их у него не было, но о тайных переживаниях своей души.

21-го числа того месяца, который дикари называют луной цветов, Ренэ отправился в хижину Шактаса. Он подал руку сашему и повел его под тень сассафра, на берег реки Мешасебе⁴. Отец Суэль не замедлил явиться на свидание. Занималась заря; на некотором расстоянии в равнине можно было заметить деревню натчесов с тутовой рощей и хижинами, похожими на пчелиные ульи.

⁴ Настоящее название Миссиссипи или Мешассипи.

Французская колония и форт Розалия виднелись направо, на берегу реки. Палатки, дома, наполовину выстроенные, строящиеся форты, распаханное поле, Покрытые неграми, группы белых и индейцев, выявляли на этом маленьком пространстве контраст между цивилизованными нравами и дикими нравами.

К востоку, на самом горизонте, солнце начинало показываться между разрозненными вершинами Апалака, которые лазурными буквами вырисовывались на золоченых высотах неба; на западе Мешасебе катила свои волны в величественном молчании и с непостижимым размахом замыкала края картины.

Юноша и миссионер некоторое время любовались этой прекрасной сценой, жалея сашема, который не мог больше наслаждаться ею; затем отец Суэль и Шактас уселись на траву у подножия дерева; Ренэ выбрал место посередине и после минутного молчания сказал своим старым друзьям:

— Начиная свой рассказ, я не могу сдержать в себе прилива стыда. Мир ваших сердец, почтенные старцы, и спокойствие окружающей меня природы заставляют меня краснеть от тревоги и волнения моей души.

Как вы станете жалеть меня! Какими ничтожными покажутся вам мои вечные беспокойства! Вы, исчерпавшие все жизненные

печали, что вы думаете о юноше без сил и без добродетели, который в себе самом находит тревогу и может пожаловаться лишь на горе, которое он сам себе причиняет? Увы! не осуждайте его — он был слишком наказан!

Я стоил жизни моей матери, появляясь на свет: я был вырван из ее чрева железом. У меня был брат, которого благословил мой отец, видевший в нем старшего сына.

А я, с младенческих лет предоставленный чужим рукам, воспитывался вдалеке от отцовского крова.

Я был непреклонного нрава, с неровным характером. То шумливый и веселый, то молчаливый и грустный, я собирал вокруг себя своих юных товарищей; затем, вдруг покинув их, я садился в стороне, наблюдая за бегущим облаком или слушая, как дождь падает в древесную листву.

Каждую осень я возвращался в отцовский замок, расположенный в лесах у озера, в отдаленной провинции.

Застенчивый и натянутый вблизи отца, я чувствовал себя свободно и хорошо лишь со своей сестрой Амели. Приятная общность настроений и вкусов тесно связывала меня с ней. Мы любили вместе взбираться на холмы, плавать по озеру, бродить в лесу при листопаде: это — прогулки, воспоминание о которых еще наполняет восторгом

мою душу. О, несбыточные мечты детства и родины, никогда не утратите вы вашей сладости!

Мы шли то молча, прислушиваясь к глухому завыванию осени или к шелесту сухих листьев, печально попадавших нам под ноги; то, увлекаясь невинной игрой, бросались в долине за ласточкой, за радугой на орошенных дождями холмах; иногда мы шептали стихи, рожденные созерцанием природы. В юности я был поклонником муз; нет ничего поэтичнее, чем сердце в шестнадцать лет, со свежестью страстей. Утро жизни, подобно утру дня, полно ясности, образности и гармонии.

В воскресные и праздничные дни я часто слышал в лесу доносившиеся сквозь деревья звуки отдаленного колокола, призывавшего в храм людей, трудившихся на нивах. Прислонившись к стволу ивы, я слушал в молчании благочестивый шопот. Каждый отзвук металла наполнял мою наивную душу невинностью сельских нравов, спокойствием одиночества, обаянием религии и упоительной меланхолией воспоминаний моего раннего детства! О, какое бы самое плохое сердце не затрепетало при перезвоне колоколов родного гнезда, колоколов, которые дрожали от радости над его колыбелью, оповещая о его появлении в жизнь, отмечая первое биение его сердца и сообщая всем в окрестности о душевном подъеме отца и о страданиях вместе с несказанной радостью его

матери! Все заключено в волшебных грезах, и которые нас уводит звон родимого колокола: религия, семья, родина и колыбель, и могила, и прошлое, и будущее.

Правда, больше чем кому-либо другому, эти глубокие и нежные мысли приходили в голову нам с Амели потому, что у нас обоих в глубине сердца таилось немного грусти: мы получили ее от бога или от нашей матери.

Между тем, отец мой внезапно был сражен болезнью, которая через несколько дней свела его в могилу. Он скончался на моих руках. Я воспринял смерть на губах того, кто даровал мне жизнь. Это впечатление было громадно: оно живо до сих пор. Тогда впервые моим взорам ясно представилось бессмертие души. Я не мог допустить, чтобы это бездушное тело было творцом моей мысли; я почувствовал, что эта мысль должна была явиться во мне из другого источника, и, полный святой печали, роднящейся с радостью, я исполнился надежды когда-нибудь соединиться с духом моего отца.

Другое явление утвердило меня в этой высокой идее. Черты моего отца приняли в гробу оттенок чего-то возвышенного. Отчего? Не является ли эта удивительная тайна признаком нашего бессмертия? Отчего бы всезнающей смерти не запечатлеть на челе своей жертвы тайны иного

мира? Почему бы не таить могиле какого-нибудь великого образа вечности?

Амели, убитая горем, замкнулась в башне, где она слышала доносившиеся под своды готического замка голоса священников, сопровождавших похоронную процессию, и звуки погребальных колоколов.

Я проводил моего отца к его последнему приюту; земля сомкнулась над его останками; вечность и забвение навалились на него всей своей тяжестью: в тот же вечер равнодушный прохожий шагал по его могиле; для всех, за исключением его сына и дочери, он точно никогда и не жил.

Пришлось покинуть родительский кров, перешедший в наследство к моему брату: мы с Амели переехали к старым родственникам.

Стоя на обманчивом перепутья жизни, я обдумывал различные дороги, не осмеливаясь вступить ни на одну из них. Амели часто говорила мне о радости монашеской жизни; она уверяла меня, что я был единственной нитью, удерживавшей ее в свете, и глаза ее с печалью останавливались на мне.

Глубоко растроганный этими благочестивыми беседами, я часто направлялся к монастырю, который находился по соседству с нашим новым жилищем. Однажды даже мне хотелось укрыть в нем свою жизнь. Счастливы те, кто кончает свой

путь, не покидая гавани, и не влачат, подобно мне, бесполезных дней на земле!

Европейцы, постоянно живущие в треволнениях, должны создавать для себя уединение. Чем сердце наше мятежнее и тревожнее, тем больше привлекают нас спокойствие и тишина. Такие убежища на моей родине, открытые для несчастных и слабых, часто скрыты в долины, таящие расплывчатые представления о бедствиях и надежду укрыться от них; порой убежища эти строят на вершинах, где благочестивая душа, как горное растение, словно поднимается к небу, неся ему свое благоухание.

Я еще вижу величественную гармонию вод и лесов этого старинного аббатства, где я надеялся укрыть мою жизнь от превратностей судьбы. Я точно брожу еще на закате дня по монастырским переходам, гулким и пустынным. Когда луна освещала до половины столбы колоннад, вырисовывая их тени на противоположной стене, — я останавливался, смотря на крест, обозначающий область смерти, и на высокую траву, проросшую между могильными камнями. О, люди, долго жившие вдали от света и перешедшие от безмолвия жизни к безмолвию смерти, каким отвращением к земле наполняли мое сердце ваши могилы!

По природному ли непостоянству или по предубеждению к монашеской жизни, я переменил

свое намерение и решил путешествовать. Я простился с сестрой; она обняла меня с порывом, похожим на радость, словно она была довольна разлукой со мной; я не мог удержаться от горьких размышлений о непостоянстве человеческой дружбы.

Однако, исполненный пыла, я одиноко ринулся в бурный океан мира, не ведая ни его гаваней, ни подводных рифов. Прежде всего я посетил отжившие народы: я бродил, отдыхая, на развалинах Рима и Греции, развалинах стран, полных великих и поучительных воспоминаний, где дворцы засыпаны прахом, а мавзолеи царей скрыты под терновником. Сила природы и слабость человека: маленькие былинки часто пробиваются сквозь самый крепкий мрамор этих гробниц, плиты которых никогда уже не приподнимут все эти мертвецы, такие могучие в жизни!

Иногда среди пустыни виднелась одна высокая колонна, словно великая.

Я размышлял на этих руинах о всех событиях и во все часы дня. Порой солнце, то самое, которое видело закладку этих городов, величественно закатывалось на моих глазах за развалины; порой луна, восходя на ясном небе между двумя погребальными, полуразбитыми урнами, являла предо мной бледные гробницы. Часто при лучах этого светила, располагающего к мечтам, мне

казалось, что рядом со мною сидит дух воспоминаний, погруженный в задумчивость.

Но меня утомляло это копанье в могилах, где я слишком часто перебирал лишь преступный прах.

Мне хотелось видеть, не откроют ли живущие ныне народы предо мной больше добродетелей или по крайней мере меньше бедствий, чем народы исчезнувшие. Гуляя однажды по большому городу и проходя позади одного дворца, по заброшенному и пустынному двору, я увидел статую, указывавшую пальцем на место, озаменованное жертвой⁵. Меня поразило безмолвие этого места: только один ветер завывал вокруг трагического мрамора. Рабочие равнодушно лежали у подножия статуи или, насвистывая, обтесывали камни. Я спросил их, что означает этот памятник? Одни едва могли мне ответить, другие совсем не знали о катастрофе, которую он отмечал. Ничто не давало мне более верного мерила жизненных событий и нашего ничтожества. Что случилось с этими людьми, наделавшими столько шума? Время сделало только один шаг, и вид земли совсем изменился.

Во время путешествий особенно я разыскивал художников и тех дивных людей, которые воспевают на лире богов и блаженство народов,

⁵ В Лондоне, за Уайт-Холлом, статуя Карла I, казненного революционным дворянством Англии.

чтут законы, религию и могилы.

Эти певцы принадлежат к божественной породе, они обладают одним неоспоримым даром, ниспосланным небом земле. Жизнь их вместе и наивна и возвышенна; они прославляют богов золотыми устами, а сами они наиболее скромные из людей, они разговаривают, как бессмертные или как малые дети; они объясняют законы вселенной, а не могут понять самых невинных житейских дел; они имеют чудесное представление о смерти, а умирают, не замечая этого, точно новорожденные.

На холмах Каледонии последний бард, которого слышали в тех пустынях, пропел мне поэмы, которыми герой некогда утешал свою старость. Мы сидели на четырех камнях, обросших мхом; у наших ног струился поток; в некотором отдалении между развалинами башни проходила дикая коза, и морской ветер завывал в вересках долины Кона. Ныне христианская религия, дочь высоких гор, воздвигла кресты на памятниках героев Морвена и прикоснулась, к арфе Давида на берегу того самого потока, где Оссиан вызывал стоны из твоей арфы. Эта религия, столь же миролюбивая, сколь божества Сельмы были воинственны, пасет стадо там, где Фингал давал свои битвы: она населила ангелами мира облака, наполненные прежде смертоносными призраками.

Старинная и веселая Италия раскрыла предо

мною грудю своих художественных произведений. С каким священным и поэтическим трепетом бродил я по этим обширным зданиям, посвященным религии, искусствам! Какой лабиринт колонн! Какой ряд арок и сводов! Как прекрасны эти постоянные шумы вокруг соборов, похожие на рокот волн океана, на шепот ветров в лесу или на голос бога в его храме! Архитектор воплощает, так сказать, идеи поэта и делает их осязаемыми для чувств.

Однако чему же я до сих пор научился, утомляя себя таким образом? Ничему прочному у древних, ничему прекрасному у современников. Прошедшее и настоящее — это две несовершенных статуи: одна была вынута совсем.

Но, быть может, мои старые друзья, вы как жители пустыни, вы особенно удивляетесь тому, что в этом рассказе о моих путешествиях я ни разу не упомянул о памятниках природы?

Однажды я поднялся на вершину Этны, вулкана, дымящегося посреди одного острова. Я видел, как вошло солнце на необъятности горизонта, вверху надо мной; Сицилию, стиснутую, словно, в одну точку, у моих ног, и море, расстилавшееся вдаль, в безграничное пространство. В этом отвесном положении реки казались мне лишь географическими линиями, начертанными на карте; но в то время как глаз мой

с одной стороны обнимал все эти предметы, с другой он погружался в кратер Этны, пылающие внутренности которой я различал среди клубов черного пара.

Юноша, полный страстей, сидящий у кратера вулкана и оплакивающий смертных, жилища которых он едва различает, достоин лишь вашего сожаления, о старцы; но, что бы вы ни думали о Ренэ, эта картина дает вам изображение его характера и его жизни: точно так, в течение всей моей жизни я имел перед глазами создание необъятное и вместе неощутимое, а рядом с собой зияющую пропасть.

Произнеся эти последние слова, Ренэ замолк и погрузился в задумчивость. Отец Суэль смотрел на него с удивлением, а старый слепой сашем, не слыша больше голоса молодого человека, не знал, чем объяснить его молчание.

Глаза Ренэ были прикованы к группе индейцев, весело проходивших по равнине. Вдруг на лице его появилось умиление, из глаз потекли слезы, он воскликнул:

— Счастливые дикари! О, отчего я не могу наслаждаться миром, никогда вас не покидающим! В то время как я, извлекая так мало пользы, объезжал столько стран, вы, сидя спокойно под вашими дубами, предоставляли дни мирному течению, не считая их. Ваш разум ограничивался

вашиими потребностями, и вы лучше меня исполнялись мудрости, как дитя, живущее среди игр и сна. Если меланхолия, порождаемая избытком счастья, иногда и касалась вашей души, вы скоро сбрасывали с себя эту мимолетную грусть, и ваш взгляд, поднятый к небу.

Здесь голос Ренэ снова замер, и молодой человек опустил голову на грудь. Шактас протянул руку во мрак и, взяв своего сына за руку, сказал ему растроганным голосом:

— Сын мой! Дорогой сын мой!

При этих словах брат Амели пришел в себя и, устыдясь своего волнения, попросил отца извинить его. Тогда старый дикарь сказал:

— Мой юный друг, порывы такого сердца, как твое, не могут быть всегда одинаковы: сдерживай только свой характер, уже причинивший тебе столько зла. Если все житейское заставляет тебя страдать больше всякого другого, то не надо этому удивляться: большая душа должна вмещать в себе больше страдания, чем мелкая. Продолжай свой рассказ. Ты описал нам одну часть Европы, познакомь же нас и с другой. Ты знаешь, что я видел Францию; ты знаешь, какие узы связывают меня с ней: мне хотелось бы услышать о великом вожде^б, которого уже нет на земле и замечательную

^б Людовик XIV.

хижину которого я посетил. Дитя мое, я живу лишь памятью. Старик со своими воспоминаниями похож на дряхлый дуб наших лесов: этот дуб уже не украшается собственной листвой, но покрывает иногда свою наготу другими растениями, выросшими на его старых ветвях.

Брат Амели, успокоенный этими словами, продолжал рассказывать историю своего сердца. — Увы, отец мой, я не могу ничего сказать тебе об этом великом веке, так как видел в своем детстве только конец его, и его уже не было, когда я вернулся на родину. Никогда не совершалось более поразительной и внезапной перемены в народе. От высоты духовности, от почитания религии и от строгости нравов все внезапно обратилось к извигам ума, к безбожию и распущенности.

Поэтому я совершенно тщетно надеялся найти на своей родине нечто, что бы успокоило ту тревогу, тот пыл желаний, которые всюду преследовали меня. Знакомство с миром ничему не научило меня, а между тем, я уже утратил сладость неведения.

Моя сестра, ведя себя необъяснимо для меня, казалось, находила удовольствие в том, чтобы увеличивать мою грусть; она уехала из Парижа за несколько дней до моего приезда. Я написал ей, что намерен поехать к ней; она поспешила мне ответить, чтобы отвлечь меня от этого плана под

предлогом, что ей еще неизвестно, куда она отправится оттуда по делам. Какие грустные и горькие размышления о дружбе приходили тогда мне на ум: присутствие охлаждает ее, отсутствие — уничтожает, она не может устоять перед несчастьем и еще менее перед благополучием!

Вскоре я очутился более одиноким на моей родине, чем был на чужбине. Я захотел на некоторое время броситься в мир, ничего мне не говоривший и не понимавший меня. Душа моя, еще не опороченная ни одной страстью, искала предмета, к которому бы могла привязаться; но я заметил, что давал больше, чем получал. От меня не требовали ни возвышенных речей, ни глубокого чувства. Я занимался только тем, что суживал свою жизнь, чтобы снизить ее до уровня общества. Признаваемый всеми умом романтическим, стыдясь роли, которую я играл, чувствуя все большее и большее отвращение к вещам и людям, я решился удалиться в предместье и жить там в полной неизвестности.

Сначала мне нравилась эта темная и независимая жизнь. Никому неведомый, я вмешивался в толпу, эту обширную пустыню людей.

Часто, сидя в какой-нибудь малопосещаемой церкви, я проводил целые часы в размышлениях. Я видел, как бедные женщины повергались ниц перед

всевышним, как грешники покаянно преклонялись перед судилищем. Никто не выходил оттуда без просветленного лица, и казалось, что глухой шум, слышавшийся извне, был не что иное, как волны страстей и мирские бури, стихавшие у подножья храма. Великий боже, видевший, как слезы мои тайно текли в этих святых убежищах, тебе известно, сколько раз я бросался к твоим стопам, чтобы умолять тебя снять с меня бремя жизни или изменить во мне прежнего человека! Ах, кто иногда не испытал потребности переродиться, обновиться в водах потока, подкрепить свою душу в источнике жизни? Кто не чувствовал себя подавленным бременем собственной испорченности и бессильным для всего великого, благородного, справедливого?

Когда наступал вечер, я возвращался к себе в дом, я останавливался на мостах, чтобы полюбоваться закатом солнца. Светило, воспламенив городские туманы, казалось, медленно покачивалось в золотой жидкости, словно маятник на часах веков. Я шагал вместе с ночью по лабиринту пустынных улиц. Смотря на огни, светившиеся в человеческих жилищах, я переносился мыслью к веселым или печальным сценам, ими освещаемым, и думал, что под столькими крышами у меня не было ни одного друга. Мои размышления прерывались мерными

ударами часов с башни готического собора; эти удары повторялись на все тоны от церкви к церкви. Увы, каждый час в мире открывает могилу и заставляет проливать слезы.

Такая жизнь, сначала восхищавшая меня, вскоре сделалась совсем невыносимой. Мне надоело постоянное возвращение одних и тех же сцен и мыслей. Я принялся исследовать свое сердце, допрашивать себя, что я желаю. Я сам не знал этого; но вдруг мне показалось, что леса будут усладой для меня, и вот я внезапно решил окончить в сельском изгнании жизнь, едва начатую, но в течение которой я прожил целые века.

Я предался этому плану со страстью, которую вкладывал во все свои намерения; я поспешно уехал, чтоб похоронить себя в хижине, точно так, как прежде отправился в кругосветное путешествие.

Меня обвиняют в том, что я непостоянен, что я не могу долго увлекаться одной и той же химерой, что я представляю собой жертву собственного воображения, которое спешит добраться до дна удовольствий, точно его тяготит их длительность; меня обвиняют в том, что я вечно прохожу мимо цели, которую могу достичь. Увы, я только ищущ неведомое благо, влечение к которому меня преследует. Разве я виноват, что всюду вижу преграды, что все, что кончено, не имеет для меня

никакой цены? Между тем, я чувствую, что люблю однообразие жизненных ощущений и если бы я еще имел безумие верить в счастье, то стал бы искать его в привычке.

Полное одиночество, созерцание природы погрузили меня вскоре в неопишное состояние. Без родных, без друзей на земле, если можно так выразиться, еще не разу не любив, я был подавлен преизбытком жизни. Иногда я внезапно краснел и чувствовал, как к моему сердцу приливали потоком пылающей лавы; иногда я невольно вскрикивал, и ночью меня тревожили мои сны, как и бессонница. Мне чего-то не хватало для наполнения пропасти моего существования: я спускался в долину, поднимался на гору, призывая всеми силами своих желаний идеальный образ моей грядущей страсти, я обнимал его на ветру, воображая, что слышу в рокоте реки; все превращалось в этот воображаемый призрак — и звезды на небе, и даже самое начало жизни во вселенной.

Во всяком случае такое состояние спокойствия и тревоги, скудности и богатства имело некоторую прелесть. Однажды я забавлялся тем, что обрывал над ручейком листья с ивовой ветки и с каждым листочком, уносимым потоком, связывал какую-нибудь мысль. Король, трепещущий за свою корону при внезапно вспыхнувшей революции, не испытывает более

сильной тревоги, чем я при каждом моменте, грозившем обломкам моей ветки. О, слабость смертных! О, детство человеческого сердца, никогда не стареющего! Вот до какой степени ничтожества может пасть наш великий разум! А ведь сколько людей связывают свою судьбу с вещами, такими же ничтожными, как мои листья ивы.

Но как выразить кучу мимолетных ощущений, наполнявших меня во время моих прогулок? Отзвуки страстей в пустоте сердца походят на шум ветров и журчание вод в безмолвии пустыни: ими наслаждаются, но их нельзя описать.

Осень застала меня в этих колебаниях: я с восторгом вступил в месяцы бурь. То я желал быть одним из воинов, блуждавших среди ветров, туч и видений, то я завидовал доле пастуха, который грел руки на жалком огне из хвороста, зажженного им у лесной опушки. Я слушал его меланхоличные песни, напоминавшие мне, что во всех странах пение человека от природы всегда грустно, даже когда оно выражает счастье. Сердце наше — инструмент неполный, лира, в которой недостает струн и на которой нам приходится выражать радость тоном, обычно выражающим скорбь.

Днем я бродил по большим зарослям вереска, переходившим в лес. Как мало нужно было для моей мечтательности! Сухой лист, гонимый предо

мною ветром, хижина, дым, который поднимался до обнаженной вершины деревьев, мох на стволе дуба, трепещущий при северном дуновении, отдаленный утес, пустынный пруд, где шумел увядший тростник! Одинокая колокольня, возвышавшаяся вдалеке в долине, часто привлекала мои взоры; я тоже следил глазами за прелестными птицами, пролетающими над моей головой. Я представлял себе неизвестные берега, отдаленные страны куда они направлялись; мне бы хотелось очутиться на их крыльях. Тайный инстинкт мучил меня; я чувствовал, что сам я только странник, но голос с неба как бы говорил мне:

— Человек, время твоего переселения еще не настало; подожди ветра смерти: тогда ты направишь свой полет в те неизвестные области, которых ищет твое сердце.

«Поднимитесь скорее, вы, желанные бури, которые должны перенести Ренэ в пространство другой жизни!» Говоря это, я шел большими шагами, с пылающим лицом, с волосами, развеваемыми ветром, не чувствуя ни дождя, ни мороза, упоенный, терзаемый и словно одержимый демоном моего сердца.

Ночью, когда северный ветер шатал мою хижину, когда дождя потоками лились на крышу, когда я смотрел в окно, как луна бороздила накопившиеся облака, словно бледное судно,

взрывающее волны, мне казалось, что жизнь удваивается в глубине моего сердца, что я обладаю властью творить миры. Ах, если бы я мог разделить с кем-нибудь переживаемые мною восторги. О господи, если бы ты дал мне жену, какую мне надо; если бы, как нашему первому отцу, ты привел ко мне за руку Еву, вынутую из меня самого... Небесная красота, я преклонился бы перед тобою, потом, приняв тебя в свои объятия, я бы стал молить предвечного, чтобы он позволил мне отдать тебе остаток моей жизни!

Увы, я был один, один на земле! Тайное томление овладело всем моим телом. Отвращение к жизни, знакомое мне с самого детства, возвратилось с новой силой. Вскоре мое сердце перестало давать пищу моей мысли, и я замечал свое существование только по чувству глубокой тоски.

Некоторое время я боролся со своим недугом, но с равнодушием и без твердого намерения побороть его. Наконец, не находя средств против той странной раны моего сердца, которой не было нигде и которая была повсюду, я решил покинуть жизнь.

Жрецы всевышнего, слушающие меня, простите несчастного, которого небо почти лишило рассудка. Я был полон благочестия, а рассуждал, как безбожник; сердце мое любило бога, а ум не

признавал его; мое поведение, мои речи, мои чувства, мои мысли были лишь противоречиями, мраком, ложью. Но всегда ли знает человек, чего он хочет? Всегда ли он уверен в том, что думает?

Все сразу ускользало от меня: дружба, мир, уединение. Я все испробовал, и все оказалось для меня роковым. Отвергнутый обществом, покинутый Амели, когда и одиночество покидало меня, что оставалось мне еще? Это была последняя доска, на которой я надеялся спастись, и я чувствовал, что и она погружается в пучину.

Решась избавиться от бремени жизни, я захотел вложить весь свой разум в это бессмысленное дело. Ничто не торопило меня; я не назначал минуты отхода, с тем чтобы понемногу вкушать последние минуты жизни и собрать все силы, чтобы, по примеру одного древнего, чувствовать, как душа моя будет оставлять меня.

Однако я счел необходимым сделать распоряжение относительно своего имущества и вынужден был написать Амели. У меня вырвалось несколько жалоб насчет того, что она забыла меня и, без сомнения, промелькнула нежность, мало-по-малу овладевавшая моим сердцем. Но я все же думал, что хорошо скрыл свою тайну, однако, сестра, привыкшая читать в тайниках моей души, ее легко разгадала. Она была встревожена принужденностью моего письма и моими

расспросами о делах, которыми я никогда не занимался. Вместо ответа она неожиданно приехала ко мне.

Чтобы хорошо почувствовать, как велика была впоследствии горечь моих страданий и какова была моя первая радость при свидании с Амели, вы должны знать, что она была единственным существом на свете, любимым мной, что все мои чувства сосредоточивались на ней со всей сладостью воспоминаний детства. Итак, я принял Амели в каком-то сердечном экстазе. Так давно уже я не сталкивался ни с кем, кто бы понимал меня, кому бы я мог открыть свою душу.

Амели, бросаясь в мои объятия, сказала: «Неблагодарный, ты хочешь умереть, когда у тебя есть сестра! У тебя подозрения насчет ее сердца. Не объясняйся, не оправдывайся, я все знаю; я все поняла, точно была с тобою. Разве можно обмануть меня, видевшую зарождение твоих первых чувств? Вот твой несчастный характер, твоё отвращение ко всему, твоя несправедливость! Клянись сейчас, пока я сжимаю тебя в своих объятиях, клянись, что в последний раз поддался своему безумию, дай мне клятву, что никогда не покусишься на свою жизнь!»

Говоря это, Амели смотрела на меня с состраданием и нежностью и покрывала мой лоб поцелуями, почти как мать или еще нежнее. Увы, сердце мое открылось для всех радостей; как дитя, я

нуждался только в утешении; я поддался влиянию Амели. Она потребовала торжественной клятвы; я дал ее без колебания, даже не подозревая, что с тех пор мог быть несчастен. Больше месяца мы втягивались в наслаждение быть вместе. Когда утром, вместо того чтобы быть одному, я слышал голос сестры, я вздрагивал от радости и счастья. Амели получила от природы нечто божественное: душа ее имела ту же невинную грацию, что и тело; мягкость ее чувств была беспредельна, в уме ее не было ничего, кроме нежного и немного мечтательного, точно ее сердце, мысль и голос вздыхали заодно; от женщины она заимствовала застенчивость и любовь, от ангела — чистоту и мелодичность.

Настал момент, когда я должен был ответить за всю свою непоследовательность. В своем сумасбродстве я желал даже испытать несчастье, чтобы иметь по крайней мере реальную причину страдания: это было ужасное желание, и бог в своем гневe чересчур усердно исполнил его!

Что предстоит мне открыть вам, друзья мои! Смотрите на слезы, льющиеся из моих глаз. Смогу ли я даже... Несколько дней назад ничто бы не вырвало у меня моей тайны... Но теперь, когда все кончено!

Во всяком случае, о старцы, пусть эта история покоится под вечным небом.

Уже кончалась зима, когда я заметил, что Амели теряет покой и здоровье, которые она начала возвращать мне. Она похудела, глаза ее ввалились, походка сделалась вялой, голос тревожным. Однажды я застал ее всю в слезах у подножия распятия. Свет, одиночество, мое отсутствие, мое присутствие, ночь, день — все тревожило ее. Невольные вздохи замирали на ее устах: то она без всякой усталости выносила длинную прогулку, то едва передвигала ноги: она бралась за работу, и бросала ее, открывала книгу, но не могла читать, начинала фразу и, не окончив ее, вдруг заливалась слезами и удалялась к себе для молитвы.

Напрасно старался я раскрыть ее тайну. Когда я расспрашивал ее, сжимая в своих объятиях, она отвечала с улыбкой, что она сама не знает, что с ней.

Так прошло три месяца, и состояние ее с каждым днем ухудшалось. Мне казалось, что ее таинственная переписка была причиной ее слез, так как она казалась то более спокойной, то более взволнованной, смотря по письмам, ею получаемым. Наконец, как-то утром, видя, что давно пришел час, когда мы обыкновенно завтракали, я поднялся к ней; стучусь и не получаю ответа; приотворяю дверь — в комнате нет никого. На камине вижу конверт, адресованный мне. Весь дрожа, хватаю его, распечатываю и читаю

следующее письмо, которое сохраняю, чтобы отнять у себя в будущем всякое стремление к радости:

«Ренэ!

Беру небо в свидетели, брат мой, что я готова тысячу раз пожертвовать жизнью, чтобы избавить вас от минутного горя; но я, несчастная, ничего не могу сделать для вашего счастья. Поэтому простите меня за то, что я убежала от вас, как преступница; я не могла бы устоять перед вашими просьбами, а между тем, надо было уехать... Боже мой, сжался надо мной!

Вы знаете, Ренэ, что у меня всегда была склонность к монастырской жизни. Пора воспользоваться предостережением неба. Отчего я ждала так долго? Бог наказывает меня за это. Я для вас оставалась в мире... Простите, волнение разлуки с вами совсем расстроило меня.

Теперь я чувствую, дорогой брат мой, необходимость этих убежищ, против которых вы так часто восставали. Есть несчастья, навеки разлучающие нас с людьми. Что бы случилось тогда с бедными, несчастными людьми? Я уверена, что и вы сами, брат мой, нашли бы покой в этих благочестивых убежищах: земля не дает ничего, достойного вас.

Я вовсе не стану напоминать вам о вашей

клятве: я знаю верность вашего слова. Вы поклялись и будете жить для меня. Есть ли что-нибудь более жалкое, чем постоянно носиться с мыслью покинуть жизнь... Для человека с вашим характером так легло умереть. Поверьте вашей сестре, жить гораздо труднее.

Но, брат мой, возможно скорее расстаньтесь с одиночеством, оно не годится для вас; поищите себе какое-нибудь применение. Я знаю, как вы горько смеетесь над необходимостью для всех во Франции выбирать себе положение. Не презирайте все же опыта и мудрости наших отцов. Лучше, мой дорогой Ренэ, несколько больше походить на всех людей и иметь несколько меньше страданий.

Быть может, в браке вы обретете облегчение от вашей тоски. Жена, дети наполнят, пожалуй, ваши дни. А какая женщина не постарается осчастливить вас! Пылкость вашей души, красота вашего ума, ваш благородный и страстный вид, этот взгляд, гордый и нежный, — все обеспечивает вам ее любовь и ее верность. О, с какой усладой она заключит тебя в свои объятия и прижмет к своему сердцу! Как все взгляды ее, все мысли будут сосредоточены на тебе, чтобы предупредить твою самую маленькую печаль; она будет сама любовь, сама невинность перед тобою; тебе будет казаться, что ты снова обрел сестру.

Я уезжаю в монастырь... Этот монастырь, построенный на берегу моря, подходит к состоянию моей души. Ночью в своей келье я буду слышать ропот волн, омывающих стены монастыря; я буду думать о наших прогулках по лесам, когда шепчущие вершины сосен напоминали нам шум моря. Милый спутник моего детства, неужели я больше не увижу вас? Я лишь немного старше вас, и я качала вас в колыбели; часто мы спали вместе. Ах, если бы одна могила могла когда-нибудь соединить нас! Но нет: я должна спать одна под холодным мрамором этого святилища, где навеки покоятся девы, которые никогда не любили.

Не знаю, будете ли вы в состоянии прочесть эти строки, полустертые моими слезами. В конце концов, друг мой, рано или поздно нам все-таки пришлось бы расстаться! К чему говорить мне вам о непрочности и малой ценности жизни? Вы помните молодого М., потерпевшего кораблекрушение у берегов Иль-де-Франса. Когда вы получили его последнее письмо, через несколько месяцев после его смерти, его земная оболочка уж не существовала, а когда вы начали носить после него траур в Европе, его кончали носить в Индии. Что же такое человек, если память о нем исчезает так скоро? Одна часть его друзей не может узнать об его смерти без того, чтобы другая уже не утешилась! Ах, дорогой мой,

дорогой Ренэ, неужели воспоминания и обо мне так быстро изгладятся из твоего сердца? О, брат мой, если я отрываюсь от вас во времени, то для того, чтобы не разлучаться с вами в вечности!

Р. С. Присоединяю к этому письму дарственную запись на мое имущество; надеюсь, что вы не откажетесь от этого знака моей дружбы».

Если бы молния внезапно упала к моим ногам, я не испугался бы больше, чем при чтении этого письма. Какую тайну скрывала Амели от меня? Кто заставил ее так внезапно вступить в монастырь? Неужели она привязала меня к жизни прелестью своей дружбы только для того, чтобы внезапно покинуть меня? Ах, зачем приезжала она отвлекать меня от моего намерения? Порыв сострадания призвал ее ко мне; но вскоре, утомленная тяжелым долгом, она поспешила бросить несчастного, не имевшего на земле никого, кроме нее. Люди воображают, что сделали все, если помешали человеку умереть! Так сетовал я. Потом, думая о себе, я говорил: «Неблагодарная Амели, если бы ты была на моем месте, если бы, как я, ты заблудилась в пустыне твоей жизни, — ах, ты не была бы покинута твоим братом!»

Однако, перечитывая письмо, я находил в нем столько грусти и нежности, что сердце мое растаяло. Вдруг у меня явилась мысль, подавшая

некоторую надежду: мне показалось, что Амели полюбила кого-то, кого не решалась назвать. Это подозрение, казалось, объясняло ее грусть, ее таинственную переписку и страстный тон ее письма. Я ей немедленно написал, умоляя открыть мне свое сердце.

Она не замедлила ответить мне, но не выдала своей тайны; она только уведомляла меня, что получила отпущение от послушничества и вскоре произнесет монашеский обет.

Я был возмущен упрямством Амели, ее таинственностью и столь малым доверием к моей дружбе.

После минутного раздумья о том, на что мне решиться, я вздумал отправиться в Б., чтобы в последний раз попытаться убедить сестру. Мой путь, лежал через край, где я был воспитан. Увидя леса, в которых я проводил единственно счастливые часы моей жизни, я не мог сдержать своих слез и не устоял против искушения сказать им последнее прости.

Мой старший брат продал унаследованное им отцовское поместье, и новый владелец не жил в нем. Я приехал в замок по длинной пихтовой аллее, прошел пешком по пустынным дворам; я остановился, чтобы взглянуть на закрытые, местами разбитые окна, на чертополох, росший у стен, на кучи листьев, собранных у порога дверей, на пустое

крыльцо, где я так часто видел моего отца и его верных слуг. Ступеньки уже поросли мхом. Желтофиоль выросла между его растрескавшимися, расшатанными камнями. Незнакомый сторож поспешно открыл предо мною двери. Я не решался переступить через порог, Он воскликнул:

— Неужели и с вами будет то же, что с незнакомкой, несколько дней назад приехавшей сюда? Она упала в обморок, войдя сюда, и я принужден был отнести ее в карету.

Мне не трудно было узнать, кто эта незнакомка, которая, как я, приезжала сюда за слезами и воспоминаниями!

Прикрыв на минуту глаза платком, я вступил под кров моих предков. Я прошел по всем гулким комнатам, в которых раздавался только шум моих шагов. Комнаты освещались слабым светом, проникавшим сквозь закрытые ставни. Я зашел в ту, где скончалась моя мать, дав мне жизнь, в ту, где скончался мой отец, в ту, где я спал в своей колыбели, наконец, в ту, где сердце моей сестры получило первые обеты дружбы. Повсюду обои были содраны, и паук ткал свою паутину на покинутых постелях. Пospешно вышел я оттуда и удалился большими шагами, не осмеливаясь оглянуться. Как прекрасны, но как мимолетны те минуты, которые братья и сестры проводят в своем детстве под крылом их старых родителей! Целость

семьи человека длится только один день: дуновение божие рассеивает ее, как дым. Сын едва знает отца, отец — сына, брат сестру, сестра — брата. Дуб видит, как его желуди пускают ростки вокруг него; но не таков удел детей человека.

Приехав в Б., я велел везти себя в монастырь; там я выразил желание видеть сестру. Мне сказали, что она никого не принимает. Я написал ей. Она мне ответила, что готовится посвятить себя богу и ей запрещено отдать хотя бы одну мысль миру, что если я люблю ее, то не стану удручать ее своим горем. Она прибавляла: «Впрочем, если вы хотите появиться у алтаря в день моего пострижения, то сделайте мне честь заступить, мне место отца: одна только эта роль достойна вашего мужества, только она одна соответствует нашей дружбе и моему покою».

Эта холодная твердость, противопоставленная моей пылкой дружбе, довела меня до сильнейшего исступления. То я готов был вернуться к себе, то хотел остаться исключительно для того, чтобы помешать обряду. Ад внушал мне даже мысль заколоть себя в церкви и слить мои последние вздохи с обетами, отнимавшими у меня сестру. Игуменья монастыря велела предупредить меня, что в алтаре приготовят для меня скамью и что она приглашает меня на службу, назначенную на следующий день.

На заре я услышал первые звуки колоколов... К десяти часам я дотащился до монастыря в состоянии какой-то агонии. Для того, кто присутствовал при подобном зрелище, не может быть ничего более трагичного, и ничего более скорбного для того, кто пережил его. Громадная толпа наполняла церковь. Меня провели на скамью в: алтарь. Я упал на колени, почти не сознавая, где я и на что я решился. Священник уже стоял перед алтарем; вдруг отворяется таинственная решетка и входит Амели, разодетая со всей мирской пышностью. Она была так хороша, на лице ее отражалось нечто столь божественное, что она на один миг возбудила общее изумление и восторг. Побезденный великой скорбью святой, пораженный религии, я забыл о всех своих планах насилия; силы оставили меня, я чувствовал себя связанным мощной рукой и вместо богохульств и угроз нашел в своем сердце глубокое обожание и смиренные стоны. Амели становится под балдахин. Служба начинается при огне светильников, среди цветов и благоуханий, которые должны были придать обаяние обряду. Во время молитвы священник снял с себя верхнюю ризу, оставив на себе лишь льняной хитон, взшел на кафедру и в простой, но трогательной речи обрисовал счастье девственницы, посвящающей себя богу. При его словах: «Она появилась, как ладан, сгорающий на

огне», великое спокойствие и небесные ароматы, казалось, распространялись по всей церкви. Все почувствовали себя словно укрытыми под крылом мистической голубки, и казалось, что ангелы спускались на алтарь и поднимались к небу с благоуханиями и венками.

Священник кончает свою проповедь, снова надевает ризу и продолжает службу. Две молодые монахини под руки подвели Амели, и она опустилась на колени на последнюю ступеньку алтаря. Тогда пришли за мною для исполнения обязанности отца. Услыша мои нетвердые шаги по алтарю, Амели едва не лишилась чувств. Меня поставили рядом со священником, чтобы подавать ему ножницы. В эту минуту я почувствовал, что снова впадаю в исступление; ярость моя готова была разразиться, когда Амели, призвав все свое мужество, бросила на меня взгляд, полный такого упрека и такого горя, что я был сражен. Религия восторжествовала. Моя сестра, пользуясь моим смущением, смело протянула голову. Ее великолепные волосы падали со всех сторон под священной сталью. Длинная власяница заменила для нее все современные украшения, нимало не отнимая у нее ее трогательности. Ее лоб с отражавшимися на нем заботами скрылся под льняной повязкой, и таинственное покрывало, символ девственности и чистоты, покрыло ее

голову, лишенную волос. Никогда она не казалась более прекрасной. Глаза кающейся были прикованы к мирскому праху, а душа ее была на небе.

Однако Амели еще не произнесла обета, а для того, чтобы умереть для мира, она должна была пройти через могилу. Сестра моя ложится на мрамор, ее покрывают погребальным покровом, а по углам его ставят четыре светильника. Священник в епитрахили, с книгой в руке, начинает панихиду; молодые девушки продолжают ее. О, наслаждение религии, как велико, но и как ужасно! Меня заставили стать на колени у этого траурного покрова. Вдруг из-под него послышался шопот; я наклоняюсь, и следующие страшные слова поражают мой слух (я один мог их услышать): «Милосердный боже, сделай так, чтобы я не встала с этого погребального ложа, и осыпь твоими щедротами брата, который не разделял моей преступной страсти».

При этих словах, вырвавшихся из гроба, ужасная истина просветила меня; рассудок мой помутился; я упал на саван, сжал сестру в своих объятиях и вскрикнул; «Непорочная невеста Иисуса Христа, получи мои последние объятия сквозь холод смерти и глубины вечности, уже отделяющие тебя от твоего брата!»

Этот порыв, этот возглас и слезы прерывают обряд, священник останавливается, монахини

запирают решетку, толпа волнуется и теснится у алтаря. Меня уносят в обмороке. Как мало был я благодарен тем, кто вернул меня к жизни. Открыв глаза, я узнал, что жертва совершилась и что моя сестра заболела горячкой. Она велела просить меня, чтобы я не искал свидания с ней. О, печаль жизни! Сестра боится говорить с братом, а брат боится, чтобы сестра услышала его голос! Я вышел из монастыря, словно из того чистилища, пламя которого подготавливает нас к жизни небесной, где все потеряно, как в аду, кроме надежды.

Можно найти в душе своей силы против личного несчастья; но быть невольной причиной несчастья другого — совершенно невыносимо. Узнав, в чем заключалась причина мучений моей сестры, я представлял себе, что она должна была выстрадать. Тогда мне стало ясным многое, чего я прежде не понимал: смесь радости и грусти, которую проявляла Амели, когда я отправлялся путешествовать; ее старание избегать меня после моего возвращения и вместе с тем слабость, так долго мешавшую ей вступить в монастырь. Несомненно, несчастная девушка надеялась вылечиться! Ее намерение постричься, хлопоты об отпущении от послушничества и распоряжения об отказе от имущества в мою пользу вызвали, очевидно, таинственную переписку, вводившую меня в заблуждение.

Ах, мои друзья! Так я узнал, что значит проливать слезы о бедствии, далеко не вымышленном. Мои страсти, так долго не проявлявшиеся, накиннулись на эту первую жертву с яростью. Я даже находил какое-то неожиданное наслаждение в полноте моего горя и заметил с тайной радостью, что горе — не то чувство, которое исчерпывается, как удовольствие.

Я захотел покинуть землю до приказа всевышнего. Это был великий грех: бог послал мне Амели и для того, чтобы спасти меня и для того, чтобы наказать. Таким образом, всякая греховная мысль влечет за собою смятение и несчастье. Амели просила меня жить, и я обязан был повиноваться ей, чтоб не увеличивать ее терзаний. К тому же — странная вещь! — у меня не было никакого желания умирать с тех пор, как я стал действительно несчастным. Мое горе обратилось в занятие, заполняющее все мое время; до такой степени мое сердце, по самой природе своей, исполнено тоски и горя!

Итак, я внезапно принял другое решение: покинуть Европу и переселиться в Америку.

В то самое время в гавани Б. снаряжали флот в Луизиану. Я условился с одним из капитанов кораблей, сообщил Амели о своем намерении и занялся отъездом.

Моя сестра была близка к смерти, но бог,

предназначавший ей пальму девственности, не хотел так скоро призывать ее к себе; ее испытание на земле было продолжено. Вторично придя на тяжелое житейское поприще, героиня, согбенная под тяжестью креста, смело шла навстречу горю, видя в борьбе только одно торжество, а в чрезмерном страдании — только чрезмерную славу.

Продажа того немногого, что у меня оставалось и что я уступил брату, долгие приготовления к отъезду, противные ветры надолго задержали меня в гавани. Каждое утро ходил я за известиями об Амели и возвращался всегда с новым поводом для восхищения и для слез.

Я беспрестанно бродил вокруг монастыря, построенного на берегу моря. Я часто замечал за маленьким решетчатым окном, выходящим на пустынный берег, монахиню, сидевшую в задумчивости; она мечтала, смотря на океан, где показывались корабли, направлявшиеся во все концы земли. Часто при свете луны я видел ту же монахиню у ее окна: она любовалась морем, освещенным ночным светилом и, казалось, прислушивалась к шуму волн, которые грустно разбивались о пустынный берег.

Мне кажется, будто я еще слышу колокол, призывавший по ночам монахинь к бодрствованию и молитве. В то время как он медленно гудел, а монахини молча собирались к алтарю, я бежал в

монастырь; там, один у его стен, я прислушивался в святом экстазе к последним звукам псалмов, которые смешивались под сводами храма со слабым плеском волн.

Сам не знаю, каким образом все то, что должно было возбуждать мое горе, наоборот, притупляло его жало. Моя слезы немного утратили свою горечь, когда я проливал их среди скал и ветров. Даже самое мое горе, вследствие необычайности, заключало в себе и лекарство: можно наслаждаться тем, что не составляет общего достояния, хотя бы это было и несчастьем. Я почти стал надеяться, что и сестра моя, в свою очередь, будет менее несчастна.

Письмо, полученное от нее перед самым моим отъездом, казалось, подтверждало это. Амели нежно упрекала меня за мою тоску и уверяла, что время уменьшает ее горе. «Я не отчаиваюсь в своем счастье, — писала она. Огромность жертвы, к тому же уже совершенной, возвращает мне некоторый покой. Простота моих подруг, чистота их обетов, правильность их жизни — все это льет бальзам на мою жизнь. Когда я слышу, как бушует буря и как морская птица бьется крыльями о мое окно, я, бедная голубка неба, думаю о том, как я счастлива, что нашла убежище от бурь. Здесь — священная гора, высокая вершина, куда доносятся последний шум земли и первые звуки небесной музыки. Здесь

религия сладко убаюкивает чувствительную душу: самую страстную любовь заменяет она чем-то вроде жгучей непорочности, в которой соединяются любовника и девственница; она очищает вздохи; она превращает в пламя непорочное пламя тленное, она дивно примешивает свое спокойствие и свое целомудрие и к остатку потухающей жизни».

Я не знаю, что еще мне предназначило небо и не желало ли оно предупредить меня, что все мои шаги будут сопровождаться бурями. Дан был приказ к отплытию флота: уже несколько кораблей подняли свои паруса при закате солнца. Я решил провести последнюю ночь на суше, чтобы написать Амели прощальное письмо. Около полуночи, когда я был погружен в это занятие и обливал слезами бумагу, слух мой был поражен шумом ветра. Прислушиваюсь, и вдруг среди бури раздались звуки набата, смешанные со звоном монастырского колокола. Бегу на берег; там все было пустынно и лишь слышен был рев волн. Сажусь на скалу. С одной стороны простирались предо мною блестящие волны, с другой — темные стены монастыря смутно терялись в высоте. Слабый свет виднелся в решетчатом окне. Не ты ли это, о, моя Амели. повергшись к стопам распятия, молила бога бурь спасти твоего несчастного брата? Шторм на море тишина в твоём убежище; люди, разбитые о подводные скалы у самых стен приюта, который

ничто не может потревожить; бесконечное за стеною келий; колеблющиеся фонари кораблей — неподвижный маяк монастыря; ненадежность судьбы мореплавателя, весталка, которая в каждом дне может видеть все будущие дни своей жизни. С другой стороны, такая душа, как твоя, о Амели, бурная, как океан; кораблекрушение более ужасное, чем крушение моряка. Вся эта картина глубоко запечатлелась в моей памяти. Солнце этого нового неба, нынешний свидетель моих слез, эхо американского берега, повторяющее слова Ренэ, знайте, что утром после этой страшной ночи, я облокотясь на борт моего корабля, смотрел, как навеки удалялась от меня моя родная земля! Я долго глядел на берег, на последние колыханья деревьев моей родины, на крыши монастыря, скрывавшиеся на горизонте.

Ренэ, окончив свой рассказ, вынул с груди бумагу и передал ее отцу Суэлю, затем, упав в объятия Шактаса и заглушая свои рыдания, он дал время миссионеру пробежать поданное ему письмо.

Оно было от игуменьи монастыря Б. и сообщало о последних минутах сестры Амели из Общины милосердия; она скончалась как жертва своего рвения и сострадания, ухаживая за подругами, заболевшими заразной болезнью. Вся община была в неутешном горе и считала Амели святой.

Игуменя прибавляла, что в течение ее тридцатилетнего управления монастырем она не видала монахини столь кроткого и ровного характера, монахини, которая бы больше, чем она, радовалась, что покинула тревожения света.

Шактас сжимал Ренэ в своих объятиях; старец плакал.

— Дитя мое, — сказал он своему сыну, — как бы я желал, чтобы отец Обри был здесь: он вызывал из своего сердца мир, который успокаивал бури, хотя, казалось, сам не был им чужд; его можно было сравнить с луною в бурную ночь: блуждающие облака не могут унести ее в своем полете; чистая и неизменная, она спокойно плывет над ними. Увы, что касается меня, то все меня смущает и увлекает за собой!

До сих пор отец Суэль не произнес ни слова и с суровым видом слушал рассказ Ренэ. Он таил в себе сострадательное сердце, но высказывал непреклонный характер. Чувствительность сашема заставила его нарушить молчание.

— В этой истории, — сказал он брату Амели, — ничто не заслуживает сострадания, которое вам высказывают. Я вижу молодого человека, голова которого набита химерами: все ему не нравится, он уклонился от общественных обязанностей, чтоб предаться бесполезным мечтам. Никто не может считать себя выше других людей

только оттого, что свет ему представляется в отвратительном виде. Людей и жизнь ненавидят лишь потому, что смотрят на них не с достаточного расстояния. Расширьте несколько ваш взгляд, и вы скоро убедитесь, что все страдания, на которые вы жалуетесь, — чистейший вымысел. Но какой стыд, что вы не можете думать об единственном несчастье вашей жизни, не краснея при этом! Вся чистота, вся добродетель, вся набожность и все венки святой делают едва переносимой единственную мысль о вашем горе. Ваша сестра искупила свой грех; но если следует высказать мою мысль, то, признаюсь, я боюсь, чтобы из ужасной справедливости, признание, вышедшее из гроба, не смутило, в свою очередь, и вашу душу. Что вы делаете в глуши лесов, где вы в одиночестве проводите дни, пренебрегая всеми вашими обязанностями? Святые, скажете вы мне, погребали себя в пустынях. Они пребывали там со своими слезами и на умерщвление своих страстей тратили то время, которое вы тратите, быть может, на разжигание ваших. Высокомерный юноша, вы вообразили, что человек может довольствоваться самим собою! Одиночество губительно для того, кто не живет в нем с богом; оно увеличивает силы души, но в то же время отнимает у них всякий повод к развитию. Всякий, получивший силы, должен посвятить их на служение своим ближним;

бросая их без пользы, он сначала наказывается тайным страданием, и рано или поздно небо посылает ему страшную кару.

Смущенный этими словами, Ренэ поднял с груди Шактаса свою униженную голову. Слепой сашем улыбнулся, и эта улыбка одного рта, не соединявшаяся с улыбкой глаз, носила отпечаток чего-то таинственного и небесного.

— Сын мой, — сказал слепой, — он строг с нами обоими, он бранит и старика, и юношу, и совершенно справедливо. Да, ты должен отказаться от этой необыкновенной жизни, полной только одной тоски. Лишь обыденный путь ведет к счастью.

Однажды Мешасебе, еще довольно близко от своего истока, надоело быть простым чистым ручьем. Она просит снегов у гор, воды у потоков, дождей — у бурь, она разливается и опустошает свои чудесные берега. Сначала гордый ручей радуется своему могуществу, но, видя, что на пути его все превращается в пустыню, что он течет всеми покинутый, что воды его всегда мутны, он пожалел о смиренном русле, прорытом для него природой, о птицах, цветах, деревьях и ручьях — прежних скромных товарищах его мирного течения.

Шактас умолк, и раздался голос фламинго, который, укрывшись в тростники Мешасебе, возвещал бурю к полудню. Три друга направились

к своим хижинам. Ренэ шел молча между миссионером, молившимся богу, и слепым сашемом, нащупывавшим дорогу.

Говорят, что Ренэ, убежденный двумя старцами, вернулся к своей жене, но не нашел счастья с ней. Вскоре после того он погиб вместе с Шактасом и отцом Суэлем во время резни французов и натчесцев в Луизиане. Еще и теперь показывают утес, на котором он обычно сидел при закате солнца.

Путешествие на Везувий

Автор писал следующие замечания карандашом, восходя к вершине огнедышащей горы, писал для себя — не для публики. Известия о последних извержениях Везувия подали ему причину думать, что сии замечания могут быть любопытны для читателей. Он решился напечатать их в журнале, не поправляя ничего, боясь нарушить истину; почему и надеется, что читатели будут к нему снисходительны.

Сегодня, 5 января 1804 года, в 7 часов поутру, я выехал из Неаполя. Теперь нахожусь в Портичи. Солнце вышло из за облаков восточных; но вершина Везувия все еще покрыта туманом. Нанимаю чичероне, который должен вести меня к отверстию вулкана. Берем двух мулов, одного для меня, другого для чичероне — и отправляемся в путь свой.

Поднимаюсь вверх по дороге, довольно широкой, между виноградными деревьями, опирающимися на тополи. Еду прямо к стороне юго-восточной. Немного ниже оседающих паров, в средней области воздушной усматриваю вершины дерев: это пустынные вязы. На правой и на левой стороне между тучными лозами лакрима кристи показываются смиренные обиталища виноградарей.

Впрочем — везде пережженная земля, обнаженные виноградные деревья между зонтоподобными соснами, несколько алоевых растений в плетнях, бесчисленное множество катящихся камней, — ни одной птицы.

Всхожу на первую площадь. Обнаженная равнина лежит передо мною. Вижу две вершины Везувия: на левой стороне Сомма; на правой — нынешнее огнедышащее отверстие. Обе вершины покрыты бледными облаками. Иду вперед. Сомма становится ниже; начинаю различать рвы, изрытые на поверхности вулканического конуса, до которого скоро достигну. Лава, излившаяся в 1766 и 1769 годах, покрывает долину, по которой иду. Это ужасная закопченная пустыня, где лава представляется набросанною на черное поле беловатою пеною. Точное сходство с высохшим мохом.

Шедши по дороге влево, оставив конус вулканический на правой руке, достигаю подошвы холма, или лучше сказать стены, составившейся из лавы, которая покрыла Геркуланум. Полоса у подошвы сей стены усажена виноградными лозами, а скат зарос валежником. Холод начинает пронимать.

Взбираюсь на стену, желая посетить пустынное жилище, которое вижу на другой стороне. Небо понижается, облака опускаются к

земле, наподобие сероватого дыма или долы, носимой ветром. Начинаю слышать шум вязов, окружающих обитель.

Пустынник вышел ко мне навстречу, придержал за узду моего мула; я слез на землю. Пустынник, ростом высокий, с лицом приятным и показывающим чистосердечие, ввел меня в свою келию, предложил мне хлеб, яблоки и яйца. Между тем как я завтракал, пустынник, облокотясь обеими руками на стол, спокойно разговаривал. Облака со всех сторон покрыли нас; нельзя было ничего видеть из окошка. В сей бездне паров ничего не было слышно, кроме отдаленного шума волн морских в стороне Геркуланума. Можно ли не удивляться тихой обители христианского гостеприимства, тесной келии, стоящей во мгле тучи, под жерлом огнедышащим?

Отшельник поднес мне книгу, в которую посетители Везувия, по обыкновению, что-нибудь вписывают. В сей книге я не нашел ни одной мысли, достойной замечания. Французы означали только день своего посещения, или писали по несколько строчек в похвалу гостеприимного пустынника. Огнедышащая гора не вдохнула в путешественников ни одной важной мысли. Это еще более утвердило во мне прежнее мнение, а именно, что великие материи, равно как великие предметы, не возбуждают великих мыслей: все

величие сих предметов находится, так сказать, перед глазами; следственно все, что ни прибавишь от себя, послужит только к уменьшению оно́го. *Nascitur ridiculus mus*, можно сказать о всех горах.

В два часа с половиною я оставил хижину пустытника; обратно всхожу по отлогому скату лавы; на левой сторон буерак отделяет меня от Соммы, на правой простирается равнина под конусом. В сем ужасном месте я не нашел никакой живой твари — кроме одной молодой девушки, сухой, полуобнаженной, пожелтевшей, изнемогшей под бременем ветвей, нарубленных на холме.

Туман препятствует мне видеть предметы; ветер, дующий снизу, гонит облака с черной площади к вершинам высокой лавы. Ничего не слышу, кроме хода моего мула.

Спускаюсь с холма, поворачиваю направо, и опять нахожусь на равнине между лавами, — на той самой, которая примыкает к вулканическому конусу, и по которой я уже ехал, пробираясь к обители пустытника. Даже имея перед собою сии известковые остатки, воображение едва в состоянии представить себе огненные поля и льющиеся металлы при извержении Везувия. Может быть Данте видел их, когда описывал в своем Адеогненные пески и вечное пламя, тихо падающее, как снег, и Альпы, когда нет ветра (*com di neve in Alpe senza vento*).